**Николай ТАЕЖНЫЙ**

**АПХАС. Маленькая повесть**

Алик, вездесущий и всезнающий, прибежал раньше обычного:

— Давай, пошли скорей, по дороге расскажу!

— Ну, что за спешка? — спросил я недовольно, поспевая за Аликом.

Оказывается, Алик подслушал вчера указание управляющего отделением Александра Иваныча конюху Петру Иванычу о необходимости с утра перед работой свести Каму с Коготком: мол, «в охоте девушка».

Конюх Петр Иваныч, толстый добродушный немец из спецпереселенцев, был одним из немногих, кого в деревне называют по имени-отчеству — за солидность, видимо. Русский язык он так путем и не освоил, хотя поговорить любил — намолчится за день один в конюшне-то. Крылатые фразы Петра Иваныча становились частенько популярными клоунскими репризами, особенно удачно исполняли их браться Мецлеры, Витька с Вовкой. Например, изображая мастерски Петра Иваныча с палкой, подзывающего, для экзекуции, видимо, своего пса Бобика,такого же толстенького и коренастого, веселого и жизнерадостного дворняжку, Витька с Вовкой с уморительными рожами сюсюкали:

— Попик, Попик, на кольпас, сзади палька нету! — и вертели перед носом у Бобика воображаемой колбасой.

Произношение Петра Иваныча однажды сыграло с ним злую шутку. В тот прекрасный день немцы-спецпереселенцы поехали в район получать, наконец, долгожданные настоящие, уравнивающие их в правах документы. До этого они имели только справки и вынуждены были отмечаться в комендатуре периодически. Так вот, с утра на совхозном автобусе галдящая веселая толпа двухцветных мужиков — всех их постриг с вечера дядя Федя - парикмахер, обладатель уникальных бакенбард, - и теперь их короткие ежики окаймляла полоска незагоревшей кожи — в одинаковых негнущихся костюмах и начищенных сапогах отправилась за путевками в новую жизнь. С какой же надеждой и затаенным страхом провожали их жены и матери…

И вот, получившие новые документы, ошалевшие от радости мужики возвращаются домой. Без вина пьяные, загорланили уже в автобусе, аккомпанируя себе хлопками в ладоши и топотом ног:

— Алле катце клятцен,

Алле катце клятцен,

Нур ди кляйне клетцте нихт!

Песенка о мурлыкающих больших кошках и почему-то немурлыкающей маленькой.

Но не успел автобус надежды выехать на окраину райцентра, как Петр Иваныч, в который уже раз достававший и рассматривавший документ, словно не веря своим глазам, вскричал вдруг заполошно, выскочил из едва притормозившего автобуса и помчался обратно к комендатуре. Пока разворачивались, подъезжали к зданию, увидели выходящего, вернее, выводимого за руки двумя милиционерами Петра Иваныча. И сразу погасла радость, умолкла песня. Не решившись даже выяснить, что же там произошло, поехали уже без Петра Иваныча. И без песен. Без вины виноватые. Придавило глубокое безысходное отчаяние безропотных тружеников, своими мосластыми руками поднимавших хозяйство, обеспечивавших страну хлебом всю войну. Они решили, что документы им выдали преждевременно, по ошибке или недосмотру преступному, они ждали, что придут снова и за ними,что началась новая волна репрессий, поманили, подразнили новыми документами, обещавшими равноправную жизнь, а теперь придут, отнимут радость…

Ни единого слова никто не произнес, ехали молча до тех самых пор, пока не догнал на повороте милицейский мотоцикл с коляской, в которой размахивал руками и что-то кричал возбужденно суматошный Петр Иваныч. Пожилой милиционер, посмеявшись, поведал, что же произошло в комендатуре.

Оказывается, Петр Иваныч вбежал в комендатуру всклокоченный и, размахивая бумажкой и тыча ею в нос молоденькой чиновнице, кричал в волнении страшном:

— П..да ты! П..да ты!

Та, конечно, не ожидавшая такого оскорбления, да еще от облагодетельствованного ею человека, сразу в слезы и — за телефон, благо отдел милиции через дорогу.

— Ну же, забирайте своего матершинника, пока он чего еще не наговорил, Левитан!

Разобрались, к счастью. Без даты оказался документ. Дата, понимаешь ты, не проставлена…

На широком дворе у конюшни, куда мы прибежали наконец, уже было оживленно. Возчики дядя Саша и дядя Мавлит пришли спозаранку, чтобы запрячь лошадей. Дядя Саша облюбовал как раз Каму и теперь досадовал на задержку. Кама — наша «монголка», как ее все называли, была низкорослой, крепкой кобылой, с длинным туловищем и большой головой. Не знаю, каковы уже там настоящие монгольские лошади, но прозванная за малый рост и большеголовость «монголкой» Кама была действительно выносливой, «тягущщой» — как у нас говорят. Всегда бодрая и веселая Кама в самом деле смотрелась иностранкой среди понурых и мосластых крестьянских лошадей. Обладала она и еще одним достоинством: ее жеребята получались ростом в папу — большого старого каурого жеребца Прогресса, их было несколько — крепких понурых меринов, смирных и сильных. С Камой у Петра Иваныча были связаны надежды на увеличение поголовья лошадей. Однако старый жеребец Прогресс не мог уже, как видно, содействовать прогрессу — в прошлом году Кама осталась бездетной. Петр Иваныч не раз докладывал о таком печальном обстоятельстве начальству, но они все отмахивались. До поры до времени.

И наступило это время прошлой осенью аккурат в День урожая. Праздник этот справлялся после уборочной страды всегда с размахом — все же главный крестьянский праздник. Торжественное собрание проводилось в клубе, за столом президиума — все совхозное начальство и представители из района. Победителям социалистического соревнования вручаются, разумеется, подарки и почетные грамоты. И все идет чин-чинарем — награжденные благодарят за внимание, заверяют, что и впредь приложат, понимаешь, все усилия, ну, все путем. И директор совхоза, управляющий и парторг довольны донельзя, что не ударили в грязь лицом перед начальством из района. Аж расслабились, сердешные.

И преждевременно, ох, преждевременно — потому что награжденный за высокие показатели лучший конюх Петр Иваныч, получив свою грамоту, вышел на середину сцены да и выдал без предисловий металлическим своим баском, тренированным в покрикивании на уросливых лошадей:

— Эдот шерпец, плят, эдот шерпец польше не мошит ипать! Ефо нато на кольпас!

Могучий хохот одолевших страду и предвкушающих праздничный ужин сельчан качнул огромную сверкающую люстру, свисающую с лепного потолка.

— Что? Что он сказал? — допытывался районный начальник у парторга, судорожно ухватившегося за галстучный узел и подбиравшего в панике слова для перевода:

— Э-э, видите ли, Петр Иваныч сказал, что имеющийся у нас на балансе жеребец, э-э, состарился и, э-э, как бы не выполняет уже, э-э, свою функцию… — нашелся наконец парторг.

— Ну что ж, правильно, товарищ конюх беспокоится о производстве, — остановил большой начальник суматошно махавшего руками на Петра Иваныча директора совхоза, — я, товарищи, возьму на заметку, доложу о ваших нуждах на пленуме исполкома.

Так с легкой руки Петра Иваныча в совхозной конюшне и появился Коготок. А самого Петра Иваныча за глаза еще долгое время называли «эдот шерпец». У нас же, пацанов, «эдот шерпец» так и вовсе напрочь заменил в лексиконе словосочетание «нехороший человек».

Коготок. Как, какими причудами каких разнарядок вообще попал такой конь в деревенскую конюшню — уму непостижимо. Видимо, только благодаря «открытому тексту» Петра Иваныча и могло произойти такое. Поскольку подобное чудо предназначено, наверное, царить на ипподромах столиц или ходить под седлом султана. Огромный, абсолютно черный, стройный длиннотелый скакун с точеными ногами, маленькой сухой головой на лебединой шее. Он зло косил огненным глазом, фыркал, бил передним копытом, не стоял на месте. Под тонкой атласной кожей с короткой шерсткой переливались, жили своей отдельной жизнью эластичные резиновые мышцы. Он выглядел, как существо другого вида, среди изработанных крестьянских лошадок. На что Прогресс был крупный жеребец, но это уже совершенный зверь. Вот оно, точное определение — именно зверь, чувствовалась в нем неукротимая сила и звериная непокорность.

— Такого бы в степь — бо-ольшой косяк водил бы! Такой и пастбище найдет, и на водопой сводит — пасти табун не надо. Он и от волков защитит — что такому волк, он сам любого волка загрызет, — делился с восторженными зрителями дядя Мавлит, бывавший в казахстанских степях.

Управляющий Александр Иваныч называл Коготка производителем, хотя ничего тот и не производил, вообще не работал, стоял себе в деннике с тех самых пор, как управляющий попробовал на нем поездить. Александр Иваныч, не старый еще, не потерявший желания повыступать, не измотанный еще борьбой за план и соцобязательства, в первые дни появления Коготка запряг его с трудом и с помощью Петра Иваныча в щегольскую плетеную пролетку, оставшуюся от Прогресса. Вырвавшийся на простор жеребец со страшной скоростью промчал все окрестные поля, едва не разбив пролетку со вцепившимся в поводья Александром Иванычем, и уже возвращался было в конюшню, да на беду заметил проезжавшую подводу. Кобылка, влекущая подводу, испуганно понесла, возница счел за благо спрыгнуть, увидев позади огнедышащее чудовище.

Коготок ворвался за струхнувшей кобылкой на конный двор, волоча опрокинувшуюся пролетку, и норовил овладеть ею прямо в оглоблях. Едва загнали в денник распаленного жениха Петр Иваныч и подоспевший прихрамывающий управляющий.

Петр Иваныч одновременно и гордился своим жеребцом, и недолюбливал его. Называл уважительно, словно по фамилии и имени-отчеству: «доннер-веттер-тармоет», но и пренебрежительное «пф-ф» слышалось явственно в привычном: «Стоят, пферд!».

Каму привязали у стойки, где обычно подковывают лошадей, — врытые в землю столбы с перекладинами, куда кладут лошадиные ноги при перековке. Что-то почуяв, Кама озиралась, тревожно раздувая ноздри. В конюшне что-то громко стукнуло, что-то упало, словно от удара, распахнулись двухстворчатые ворота — и влетел Коготок с почти висящим на поводе Петром Иванычем. Казалось, суставов на длинных ногах коня гораздо больше, чем у других лошадей, — такой подпружиненной, рессорно-танцующей походкой нес он свое крупное тело.

— Везет же некоторым — и на работу не надо, и, пожалуйста, кобелю стоялому Кама с утра, — позавидовал дядя Саша.

Заметив Каму, закосил жеребец налитым глазом, всхрапнул и бочком-бочком, танцуя, понесся к ней. Заржал вдруг тонко, заливисто, и ржание это, такое жеребячье, никак не соответствовало большому телу, и лишь завершающий аккорд — мощный громовый храп, сотрясший весь его корпус, — прозвучал убедительно, даже слишком. Тут всё вдруг засуетилось, завертелось. Кама, зло ощерившись и прижав уши, стала приседать на задние ноги, мужики забегали вокруг, мешая наблюдению:

— Держи, держи Каму!

— Стерегись, затопчет, дьявол!

— Направляй, направляй, Петр Иваныч, помоги ему!

Но Петр Иваныч, видимо, что-то сделал не так, чего-то не успел, из его рук вырвался черный упругий шланг…

— Эх, шайтан!

— Ну все, хана, на сегодня танцы кончились! И чего это он так быстро, а, мужики?

— Петр Иваныч, ты, часом, ему КВ не давал?

— Ай, шорт, фердамт нох маль! Тафаль, тафаль по прифышке!

— Ну в таком разе суду все ясно! Ты что, Петр Иваныч, зачем Коготку КВ!? Это же тебе не Прогресс, пердун старый!

А вот тут я не понял, кому и адресованы последние слова — Прогрессу или Петру Иванычу.

— Ай, турна колофа! Ай, турна! — сокрушенно вздыхая, Петр Иваныч махнул дяде Саше рукой — забирай, мол, Каму.

— Слышь, Алик, о каком это КаВэ они говорят?

— Не знаю, — неуверенно ответил Алик, — кажется, в войну был танк такой. Ага, точно — КВ — Климент Ворошилов.

Странно, ей-богу, зачем Коготку танк, он же сам, как танк.

Между тем дядя Саша, отвязавший Каму и собиравшийся было увести ее в сторону телег, ойкнул вдруг, выпустил повод и попятился — это Коготок, зыркнув в его сторону глазом, всхрапнул зло, топнул передним копытом и, круто развернувшись, внезапно словно выстрелил задними ногами. Тугой пружиной разжалось его собранное в комок тело — ш-шух! — раздался шелест от резкого движения, точно так же шелестел воздух при ударах руками и ногами каратиста из фильма «Гений дзюдо». Мы это кино раз восемь смотрели, кочуя вслед за киномехаником по всем отделениям совхоза.

— Шорт!

— Ой-бой!

— Дьявол! — раздалось одновременно. Дядю Сашу как ветром сдуло наземь, — Убил, скотина!

А вот это клевета. Мы-то ясно видели, до дяди Саши оставалось никак не меньше, чем полтора коготковых корпуса. Коготок все точно рассчитал. Никого он убивать не собирался, это была лишь демонстрация силы. Демонстрация, надо сказать, удалась — в фильме-то махал руками и ногами худенький кривоногий японец, похожий на дядю Мавлита, и сбивал он, к нашему восхищению, в общем-то, совсем тоненькие бамбуковые деревца… А тут шелестел воздух от удара тяжелых копыт, снабженных к тому же железными подковами, — да такой удар снесет напрочь и столб телеграфный!

Мужики, матерясь, оттеснили Каму, а с ней и Коготка, в большой загон во дворе конюшни. Петр Иваныч, повторяя попеременно «шорт» и «турна колофа», поспешно задвинул проход большими жердями.

Дядя Саша и дядя Мавлит запрягли на скорую руку меринков, уехали. Петр Иваныч свистнул своего Бобика, забившегося от греха под телегу, тоже ушел, себе под нос фердамтя всё и вся.

Воцарилась тишина. Солнце поднялось уже над тополями, крупинками золота сверкают соломинки в подсохшем конском навозе. Зноя еще нет, но ветерок уже теплый, ласковый.

Мы с ребятами любили бывать здесь, в доме лошадином. Приятно пахнет упряжью, конским потом, мягкий редкий стук копыт о присыпанный опилками пол, беззлобная русско-немецкая ругань Петра Иваныча. Он нас никогда не прогонял, позволял даже чистить конюшню. По обе стороны от стойл — широкий проход, по краям которого дощатая ложбина, канавка шириной в одну доску, сюда сталкиваются навоз и старая подстилка, сюда же стекают и жидкие отходы. Лопату Петр Иваныч изогнул как раз по ширине канавки, ею удобно чистить и бросать навоз в железную вагонетку, что легко катится на колесиках по направляющей, — механизация! Не то, что у нас в сарае. У нас нет такой механизации, а наша корова Марта наляпает лепешек непременно по всему стойлу — знай собирай потом. Нет, представьте, ведь ходит целый день по пастбищу, нет чтобы там опростаться, так она домой навоз несет, хозяйственная наша. А ведь сколько народу на лугу твоей лепешке рады были бы, — переверните-ка подсохшую на солнышке блямбу, - что под ней жучков, червячков, муравьев! — нет, домой нести надо, добро такое… Марта слушает мое ворчанье, вздыхает сочувственно глубоким грудным голосом, качая рогатой головой: «Бедный мальчик, бедный мальчик! Ну ничего, ничего, я молочком возмещу, молочком». Что верно, то верно — молока, и вкуснейшего, Марта приносит с пастбища побольше других на нашей улице. Ладно уж, придумаю я тебе механизацию.

Мы на этой вагонетке и катаем друг друга, вывозя навоз через открытые торцевые ворота. Здесь надо только выдернуть чеку, и вагонетка сама опрокинется.

— У нее центр тяжести лежит выше оси, поэтому она опрокидывается, — разъяснил Алик, любитель физики.

Впрочем, именно он однажды и недоучел этот центр тяжести, вися на вагонетке, пока мы с Булкой ее выкатывали полную, — опрокинулась вместе с Аликом. Мало того, что ушел он по пояс в жижу навозную, так еще и сверху завалило свеженьким, как по заказу. Алик потом весь день сидел в реке, отмокал. Вот уж действительно, знание — сила.

Коготок в тени забора опустил голову сконфуженно, пристыженно, как любой бы, наверное, кавалер в такой ситуации. Кама, еще не веря нежданному отдыху, нехотя щипнула траву, попила из колоды, подняла голову, задумчиво глядя на понурившегося Коготка, и с губ ее падали звонко редкие капли. Подошла неторопливо к коню, дохнула в прядающее ухо, словно шепча что-то, потерлась о его шею…

Уныния как не бывало! Воспрянувший Коготок резко дернул всей кожей спины, будто сгоняя оводов, качнулся к Каме всем корпусом. И какие же заветные слова шепнула ему Кама — снова перед нами прежний Коготок, прежний могучий зверь! Затанцевал опять, заходил вокруг Камы, шумно дыша и всхрапывая, но уже не спешил, наученный, видимо, горьким опытом.

Собиравшиеся было бежать на работу, мы смотрели затаив дыхание. С тополей медленно, как во сне, слетали первые пушинки, время словно остановилось. Перед нами разворачивалось древнее, как мир, вернее, вневременное действо, таинство продолжения рода. Шепот, нежное покусывание гривы, поцелуи больших мягких губ… Нежные влюбленные — большой Коготок и маленькая Кама. Изнемогая от страсти, Коготок вновь заливисто по-детски заржал, затем издал свой коронный храп. Кама, широко расставив ноги, изогнув шею, оглянулась призывно. На этот раз Коготок не спешил, делая свечу… Небо, солнце, ветер, запахи трав и шелест листвы и — вечный танец больших красивых животных. «Камасутра»… Так было всегда — и будет всегда.

Первым очнулся Алик:

— Побежали, на работу опаздываем!

Мы уже знали, что будет теперь наиглавнейшим предметом наших разговоров во время перекуров в поле, о чем мечтать мы будем редкой тихою минутой вечерами на скамейке, когда отпустит вдруг суета, беготня наша всегдашняя. О чем нам грезиться будет всего чаще в коротких освежающих снах летних, — Коготочек.

Поработать нам, малолеткам, можно было, пожалуй, только на Овощном — работа здесь неквалифицированная, не доверишь ведь 12-13-летнему желторотику технику. А вот тяпку доверяли — пожалуйста, флаг вам в руки, рубите сорняки на благо совхозного строя. Не помню уж, что имелось в виду — овощной участок, овощной отдел или овощной огород. Мы его так просто и называли — Овощной, с большой буквы. За поселком, за пасекой, утопающей в черемуховой роще, и располагались поля Овощного — небольшие квадраты, разделенные лесопосадками, канавами поливных арыков.

По дороге на Овощной нужно прошмыгнуть мимо кладбища, пробежать по дну сырого овражка с едва угадывающимся ручейком. Здесь, продрогнув от утреннего холодка, шепчешь заклинания солнцу, убеждая его отогреть скорей — работник все же идет, не тунеядец какой-нибудь. И солнце, словно действительно подчиняясь заклинаниям, осветит сразу, неожиданно, едва поднимешься по тропинке, пробежав в тени больших черемух, свесивших ветви из-за забора пасеки, — замечательный будет нынче денек!

Есть здесь и контора своя, контора Овощного — дощатые беленые склады, весовая, склад тары, конторка агронома с висящей на стене школьной доской табеля выходов на работу — здесь мелом написаны фамилии работников и проценты выполнения ими норм выработки. На площадке, образованной стоящими буквой «Т» складами, — врытый в землю одноногий стол со скамейками, поодаль — отполированный годами потрескавшийся горизонтальный столб коновязи с привязанной дремлющей лошадкой,безуспешно отпугивающей оводов ленивыми взмахами отяжелевшего от жары хвоста. У дверей склада вьются зеленые и тяжелые не по сезону мухи — сбор ягод-то еще не начинался, они что, сыты воспоминаниями о прошлогоднем изобилии?

Сюда и стекались ранним утром желающие поработать. Здесь всех принимали, вручали тяпки, указывали участок работы. Пожалуй, и не было уже особой необходимости в детском труде, никто нас сюда не гнал, не приневоливал. Хотя все же ни для кого заработанная здесь «норма» — 2 рубля 10 копеек в денежном выражении — не являлась лишней. К тому же живем-то мы в деревне, останься ты дома — и работу для тебя все равно найдут, только не будет уже такой теплой компании. А компания подобралась действительно замечательная: наши все пацаны, свои в доску, — Джамайка, Факир, Санчо, Булка, Алик, Витя Гвоздик… Все, между прочим, приличные люди.

Нынешней весной царил над поселком ликующий голос Робертино Лоретти. Едва потеплело, в узких улочках распахивались окна, на подоконники выставлялись проигрыватели, и — летела, звеня, «Джамайка», переливаясь и дробясь многократно, как луч света в бесконечно смотрящих друг на друга зеркалах. Валентин мог слушать, не шелохнувшись, часами и однажды выдал:

— Хорошая, должно быть, деревня эта Джамайка!

— Да это остров в океане, чудила!

— Все равно, поди, не хуже нашей Макеровки!

Так и повелось: Джамайка да Джамайка.

Даже в весеннюю распутицу вторую обувь в школу мы, конечно, не носили. Тут главное — не попасть на глаза дежурному учителю в раздевалке. Поэтому, войдя в раздевалку в двери, как путные, мы уходили нырком под вешалки с ученическими пальтишками, выныривая в окно подсобки, где уборщицы хранили свои ведра и швабры. Фарит,как всегда, протер забрызганные ботинки варежкой и нырнул. Но у подсобки его ждала уже молоденькая учительница — практикантка, разгадавшая хитрый маневр. Нынче три студентки были присланы в нашу школу на практику, на головную боль и бессонницу мужского доармейского (и послеармейского) населения. Смешливая учительница встретила Фарита торжествующим: «Факир был пьян, и фокус не удался!» На что Фарит гордо возразил: «Я не Факир, я — Фарит!» И, не поняв, конечно, отчего это дежурная и две ее прибежавшие подружки помирают со смеху, добавил веско: «И я не пью, между прочим». Причем последнее утверждение — чистая правда. И вот почему.

Прошлым летом повадились было Фарит, Алик и Санчо потягивать бражку, которую Фаритка нацеживал украдкой из большой стеклянной бутыли, поставленной его матерью за печкой. Нацедят, дольют, разумеется, водой и — посиживают чинно за сараем. В тот злополучный день ангел-хранитель Фарита (ангел-предохранитель, как говорит Алик, занимавшийся в кружке физики) недоглядел чего-то, не предупредил вовремя о приходе отца. Родитель, весь день, небось, предвкушавший, с ходу нацедил кружку — хлоп! — не понял. Еще кружку — что такое!? После третьей сообразил, наконец, кинулся на чердак, в баню, за сарай — вот они, голубчики! Фарит, Алик и Сашка только расположились ладком вокруг трехлитровой банки с бражкой.

Что-то не в форме в этот день был ангел-предохранитель Фарита. А может, просто отдыхал после вчерашнего, когда мы в дальнем походе набрели на каком-то полевом стане на большую бочку из-под горючего. Посидели, естественно, на ней, покричали в гулкую пустоту, покидали камешки — вроде сухо там, нет бензина. Фарит, сидящий на бочке, предложил первый:

— А давайте бросим в бочку зажженный факел, посмотрим, что там на дне!

— Да ты же слезь оттуда сначала, Фарит, вдруг загорится.

— Да че загорится, там же пусто, слышите?

Вот сумел же тогда ангел-хранитель уговорить Фарита, заставить его слезть с емкости и залечь в канаву вместе с нами!

Бросили мы издали зажженный факел. Взрыв был такой, что стая ворон полчаса металась бестолково, вопя от страха. А на месте емкости валялся черный причудливый металлический цветок. И где был бы Фарит, останься он на бочке, — вопрос риторический. Так что сегодня ангел отдыхал заслуженно, наблюдал себе спокойно, как отец сграбастал Фарита, тут же под рукой оказался и недоуздок.

Фарит сумел вырвать голову из жесткого захвата отцовых колен только на восьмом взмахе недоузка — пулей под гору к речке, «чап-чап-чап-чап» — прошлепал по заболоченному ручью. Дальше Алик:

— Я его догнать не мог, слышу только — плюх в речку! — зашипело, представляете, и пар повалил, ей-богу!

— Ага! Тебя бы так! Да этот недоуздок — это прямо переуздок какой-то… Да еще с металлическими бляшками!

А ангел-хранитель наблюдал безучастно, представляете? Решил, наверно, что происходящее на пользу Фариту. Педагог.

Ангелы, они ребята с головой. Мой вот тоже.

Прошлым летом мы с Аликом проделали ход в стогу сена, расширили его, целую комнату себе в стогу устроили — красота! А сено у нас хранят на большой поляне на краю деревни. Стогов много, стоят близко они друг к другу. Поляна устлана многолетними напластованиями сена, пружинит под ногой, мы любим здесь играть, бегать и прятаться меж стогами. Так вот, сделали мы себе в стогу берлогу, присели покурить с устатку, через некоторое время мой ангел-хранитель, спасибо ему, надоумил меня подползти к выходу, глянуть наружу. Глядь — а там толпа народу бежит в нашу сторону с граблями и вилами! Оказывается, дымок нашего перекура заметили и, решив, что начался пожар на сенохранилище, подняли тревогу.

Алику с ходу удалось перемахнуть высокий дощатый забор, огораживающий чью-то картошку и перекрывающий нам пути отхода к речке, а у меня чего-то заскользили сандалии — вишу на руках и не могу подтянуться, а грозный топот все ближе. Тут ангел-хранитель подтолкнул меня оглянуться — глядь, а впереди мой батя, собственной персоной! Тоже узнал меня, вмиг сориентировался и, от греха подальше (за спиной-то — разгоряченная толпа сельчан, ошалевших от страха потерять добытое великими трудами всей деревни сено, основу зимнего благополучия и сытости), выписал мне, в общем, не заготовленного загодя тумака, то есть сверху вниз, от чего я бы непременно свалился с забора под ноги преследователям, нет, он выдал мне пинкаря, то бишь снизу вверх, да сгоряча такого, что я птицей перелетел через забор и приобрел начальную скорость повыше Аликовой. Дальше уже — дело техники: ужами по картошке до ивняка, кубарем в овраг — и мы у речки, где все заросли — наша уже территория, нас там с собаками не сыщешь. Нет, ну собаки найдут, конечно, да не выдадут, нас ведь каждая собака знает. За спиной слышим:

— Да чьи это пацаны, ты же их чуть не догнал! Пусть родители за них отвечают!

— Прямо из рук выскользнули! — отвечал батя. — Чуть не схватил. Узнаешь их, как же, они же, засранцы, сеном замаскировались, диверсанты!

Так я не понял, кто мы с Аликом — первое слово или же второе, «диверсанты»?

Позже мы узнали, что мужики по запарке раскидали весь стог, источника возгорания не нашли, конечно, — взрослые же люди курили, пепел в ладошку стряхивали, и чего паниковать? Отец, рассказывая матери за ужином о недоумках, едва не спаливших сено всей деревни, подмигнул мне заговорщически: «хорошо наш-то, мать, не такой дурак, в сене курить не будет. Возьму его с собой на покос, как только бочком сидеть перестанет».

Нет, повторюсь, ангелы-хранители — ребята с головой. Хотя… Вот Булкин, опять же.

Почему Булка? Да потому, что Насибулла Набиуллаевич Ганиатуллаев. Ничего, да? Не хуже, пожалуй, чем ворюга Карл с кораллами, годится для тренировки дикции, оттого и затвердили. А еще потому Булка, что меньше всего похож на булку, скорее на ржаной сухарик — маленький, черный, худющий. Мамы и бабушки всех приятелей, глянув на Булку, тут же порывались его накормить. Но Булка знал правила приличия: ковыряя землю черной пяткой, полагалось отвечать: «Не-а, я сыт по горло», — и проводить рукой по кадыку. А кадык у Булки весьма примечательный, обещает стать не хуже, чем у его дядьки Абдулы по прозвищу Фестиваль. Мощный кадык Фестиваля на длинной тонкой шее ходит вверх-вниз без малого на полметра, вернее, на пол-литра.

— Спорим, я выпью бутылку водки за раз из горла, не глотая? — подзуживал Фестиваль мужиков. И горе тому, кто не поверит: наблюдает горестно, как уходит, журча, водка из бутылки в бездонную глотку, затем завершающим аккордом клацнет кадык фестивалев, как затвор винтовки, досылающий патрон в патронник, — и все, ушел пузырь безвозвратно, к тому же приходится плестись в магазин за проигранной в споре бутылкой. Впрочем, все реже находит Фестиваль желающих поспорить.

Иногда Булка в ответ на приглашение еще и добавлял: «Бабуля вчера чак-чак пекла…» — и тут уже слюнки бегут у всех окружающих. Потому, что чак-чак Булкиной бабушки, сухонькой старушки в длинном цветастом платке, ниспадающем на плечи, из-под него еще звенят мониста, чак-чак Булкиной бабули — это вещь! Булка — свой парень, он никогда не кричал, как некоторые, выходя на улицу с лакомством в кармане: «Одиножды один — ем один!» И не дожидался, пока мы, в свою очередь, станем кричать ответное заклинание: «Семью восемь — кусочек просим!» Нет, Булка доставал из широких штанин и высыпал в протянутые ладошки щедрой полной лапкой хрустящие медовые. Долго после, сунув руку в карман, ощущаешь на пальцах сладкий медовый запах жареных тестяных шариков. А еще очень популярны у нас кухены Витькиной бабушки: «Спасибо, ома!» — после второго приглашения мы, не чинясь, мигом расхватывали горячие сладкие кухены — пирожки с вареньем.

В нашем поселке, состоящем на треть из татар, на треть из немцев, остальные — русские, своей мечети (как, впрочем, и церкви, и кирхи) не было, не было и ученого муллы, соответственно. Роль эту брал часто на себя Булкин дед, увлекшийся на склоне лет набожностью, хотя в молодости, говорят, тот еще был гуляка. Были у деда замечательные мягкие кожаные не то чулки, не то сапоги — ичиги, которые он берег и надевал только во время молитвы. Ичиги эти плотно, мягко облегают ноги, в комплекте с длинным черным казакином (кафтаном) и длинной же белой бородой придают деду и впрямь особый мусульманский шик.

— Ля ильляху иль алла, — выпевает, как положено, дед молитву старательно, расположившись в ичигах на молитвенном коврике и истово отбивая поклоны. Вторят ему, стуча в пол, кривляясь и приплясывая, Булка с Фаритом (прости, Господи):

— Ля ильляху иль алла-а, Мухамма-ади расулла, — причем на мотив популярной песенки «Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем».

Схватив свою палку, вопя: «О, аллах! Ай, шайтан!» — так что непонятно даже, кого и призывает он в свидетели, — помчался дед за богохульниками. Поссориться хотел, что ли. Палка дедова, кстати, хорошая, черешневая, хлестко ложится вдоль спины, Булка-то в курсе. Дед мчался, развевались его казакин и борода, мчался по кустам и камням, не заботясь даже об ичигах, чего о них заботиться — Булка все равно до них доберется.

Не догнал дед Булку. Ангел-предохранитель, наверно, сработал.

А добрался Булка до ичигов следующим образом. В рогатке, как все знают, необходимо присутствие не только собственно рогатульки и хорошей упругой резины, важной составной частью рогатки является и кожанка — та самая запчасть, куда и вкладывается камень. Так вот, мягкая и прочная кожа дедовых ичигов самым наилучшим образом годилась на кожанки. Половину пацанов поселка снабдил кожанками щедрый Булка.

Дед, готовясь к очередной молитве, достал из-под подушки жалкие остатки ичигов. Призывая аллаха, схватив палку, метнулся было за Булкой, но сел вдруг с размаху на крыльцо, закачался горестно, запричитал:

— Ай, заман! Ай, заман! Куда, куда ушли времена?!

Булке стало жаль его:

— Не реви, дед, я на Овощном заработаю, куплю тебе новые сапоги, итальянские, как у Робертино Лоретти!

— Сгинь, шайтан! А молодость новую тоже ты мне купишь, Лобетин сраный!?

Теперь уже никто не помнит, как он появился в деревне, имя у него было, конечно, но все его звали странно так: Апхас. Апхас, да и только. Как же разительно отличался Апхас от наших парней и мужиков — простоватых русских, солидных таких немцев и не шибко солидных шустрых татар. Булкин дедушка высказался кратко на этот счет, приведя татарскую поговорку, — Булка с Фаритом полчаса хохотали, мы их, обессилевших от смеха, скрутили и заставили перевести… Как бы это помягче-то… Ага, вот: страдающий насморком среди больных диареей, причем активной. Так сильно отличался. И ростом большим отличался, и черным усом под внушительным носом, а главное — глазом огненным, что зыркнет вдруг так остро, хищно — нам, пацанам, не по себе становилось. И не только нам. Его побаивался, пожалуй, и весь контингент Овощного — овощеводческая женская бригада, состоящая из десятка не шибко молодых уже, не больно-то счастливых и в основном одиноких женщин. Женщины эти выполняли круглый год всю не особо квалифицированную, тяжелую работу: зимой перебирали картошку, морковь и свеклу в промозглых буртах, весной колотились на парниках, летом и осенью выращивали и собирали урожай на полях Овощного. Крикливые и задиристые, частенько скандалившие и меж собой, и с начальством, были они, тем не менее, незаменимы — какой же мужик отпустит свою жену на такую тяжелую и малооплачиваемую работу. Это же не счетоводом в конторе сидеть. «Наш золотой фонд» — сказал о бригаде как-то на торжественном собрании сам директор. И правда, работали женщины мощно, яростно, глуша, наверное, работой свою тоску и неустроенность. Любили, чего греха таить, и в бутылочку заглянуть. Тогда дело доходило и до битья стекол и мужиков, попавших под горячую руку.

Мы с Булкой и Аликом даже были как-то участниками их праздника — юбилей справляли у Гали Галкиной, ветеранши «золотого фонда». Тетка Галя — крепко сбитая, круглая, задорный несмываемый невзгодами румянец во всю щеку. «Как орех, так и просится на грех» — плотоядно жмурились, глядя на нее, мужики. Однако бесславно заканчивались, по слухам, нескромные поползновения — рука у тетки Гали тяжелая. Наломавшись за день на работе, она, бывало, всю ночь носила ведрами без коромысла воду из колодца для полива — наутро соседские мужики лишь чесали в затылках, глядя в глубокий обмелевший колодец. Отец частенько торопил нас с братом набрать воду в емкости: «Не то Галя опять весь колодец вычерпает, пока вы спите!»

Жила Галя в маленьком зеленом домике по соседству с нами, одна растила двух сыновей-близняшек. Вот ее юбилей и справлял «золотой фонд» — с песнями, плясками под гармошку, залихватскими частушками: сорок пять — баба ягодка опять! Баба-ягодка с товарками отчаянно взбивали пыль одинаковыми белыми туфлями на толстом каблуке под визг гармони сохранявшей невозмутимость бабы Кати с беломориной в зубах. Кружа и взвизгивая, частили солеными частушка. «Эй, эй — ибилей! Ибилей!» — тетка Наталья, трамбуя усердно пыль, выкрикивала это слово, почему-то разделяя его на две составляющие, и обе эти составляющие превращались в глаголы, причем повелительного наклонения. Хотя повелевать ей решительно некому — нет на празднике мужиков, хоть ты что себе сделай!

Только Фестиваль, живший за два огорода от тетки Гали, пошел было, как сомнамбула, на запах водки и визг гармошки, да уперся бедолага, не в плетень — какой плетень его остановит! — во все понимающий непреклонный взгляд жены Маши уперся — и сник, погас, лишь кадык-затвор его клацнул несколько раз безрезультатно, загоняя в патронник холостые патроны…

Булка, Алик и я, от любопытства потерявшие бдительность, подошли слишком близко, были замечены и тотчас схвачены!

— А, вот они, наши мужики - подрастают!

— Да это же наши помощники!

— Сюда их, штрафную им!

До штрафной, правда, не дошло, но затискали, затормошили, зацеловали, щедро обдавая крепким настоем водки и одеколона «Красная Москва». Булка, тот и ворвсе едва не потерялся среди внушительных холмов тетки Натальи, туго обтянутых праздничным шелком — ибилей! Усадили за стол, принялись кормить, утихомирились вдруг, загрустили. Стали петь печальные, протяжные песни, да до того слаженно, славно так!

Тут и «Рябина кудрявая», и «Клен опавший», и бедные холостяки саратовские, и, естественно, «Ой мороз, мороз»…

Или вот эта песня:

— Ой ты, рожь,

Хорошо поешь,

Ты о чем поешь,

Золотая рожь? — пригорюнившись, выговаривает тетка Галя, и все дружно подтягивают. Потом, жалуясь друг дружке:

— …Все подружки с парнями,

Только я одна…

И еще одна песня запомнилась, никогда ни до, ни после уже слышать не привелось:

— …И дожди, и солнце…

Ой, кому-то нынче плачется,

А кому — смеется…

Ни начала, ни конца не помню, это лишь осталось в памяти, щемящее «плачется — смеется».

Как же и управлялся-то с женской бригадой, при таких резких сменах настроения, старенький агроном, которого все звали Мичуриным. Мичурин, интеллигентный такой старичок с бороденкой и в очёчках, довел однажды теток до слез. Ввалилась эта вся бригада утром в контору во главе с бабой Катей, опухшая после вчерашнего, полная решимости отразить яростной руганью любые упреки начальства, да услышала вдруг:

— Женщины, милые, как же хорошо от вас пахнет!

— Да вы что, Павел Ксенофонтович, издеваетесь, что ли? Духов французских у нас отродясь не бывало, а что вчера мы того, так это… — не нашлась даже, что и сказать, оторопевшая баба Катя, крупная, усатая, с неизменной беломориной в зубах.

— Да что мне духи французские, девочки, от вас укропом, солнцем, цветами пахнет, милые вы мои!

Не ожидавшие такого поворота бабы вмиг захлюпали отсыревшими носами, а Павел Ксенофонтович стал протирать ненужно очёчки большим платком, стыдясь явно за мужскую половину человечества, обошедшую вниманием его золотой фонд. Ушел Мичурин тем же летом, умер так же тихо и скромно, как и жил.

Летом в помощь женской бригаде придавалась еще кое-как сколоченная бригада школьников — это мы, разумеется. Вот таким контингентом и призван был управлять Апхас, присланный из города, с завода-шефа на смену Мичурину.

Апхас возник в одно прекрасное утро в конторе Овощного, сидел за дощатым столом так прочно и усадисто, будто здесь и материализовался из старых ящиков и дырявых бидонов.

— Тэперь я здэсь началник! Что, работать будэм, э?

Новый начальник зорко оглядел нас:

— Амбалы есть?

Кто это — «амбалы»? — запереглядывались мы.

— Кажется, «амба» — это конец по-морскому, моряки так говорят, — неуверенно сказал Алик.

Именно так, кстати, мы и подумаем чуть позже, попав в очередную переделку. Забрались мы в совхозный сад — так, с очередной, знаете ли, плановой проверкой: а не созрели ли, часом, груши и яблоки? Да нет, оказалось, рановато еще, яблоки вроде и ничего уже, а груши вовсе кислятина деревянная.

— Да пошли, ребя, тут ловить нечего!

— Сейчас я, проверю на верхних ветках, — Джамайка, как всегда, подошел к делу ответственно. — Может быть, те груши, которые к солнцу ближе, и поспевают раньше?

Выскочивший из кустов управляющий Александр Иваныч наши пятки только и видел, а вот Валентин, спускаясь с высокой груши, угодил ему прямо в лапы.

— Попались, воры, расхитители совхозного добра! — торжествовал Александр Иваныч, цепко сжимая ухо Валентина. — А ну, пойдем в контору, к директору, и вызовем твоих родителей!

Валентин побледнел. Его мать, одна растившая Джамайку и трех младших сестер, панически боялась всего официального, любых вызовов в контору. Сердце у нее больное. Глядим — по аллее фруктовых деревьев бежит кто-то, размахивая руками.

— И тут я подумал: все, амба!, — рассказывал потом Джамайка. — Если Александр Иваныч только в контору отведет, то этот горный джигит убьет на месте!

Не угадал Валик. Подбежавший Апхас закричал сходу:

— Зачем рибонок обижаете, э?

— Это не ребенок, это вор-расхититель, ты что, не видишь?!

— Какой хитител? Это мой работник, амбал мой!

— Да они же фруктовые деревья ломают, а это на балансе совхоза, между прочим, дорогой товарищ!

— Они нэ ломают дэрево, они только сорнак ломают. Мы здэсь работаем, здэсь все наше. Из-за такой кислота дэтэй абижать!? Отпусты, говору!

— Но-но, вы не очень-то, — перешел на «вы» почему-то Александр Иваныч, попятился, отпустив Джамайкино ухо, — мы с вами в другом месте поговорим, в правлении!

— Говорит? С тобой!? Цх-х! — скандальчик этот, к сожалению, нашему шефу еще аукнется. Но об этом позже.

— Выходы, малчики, я вас вижу!

Мы подошки с опаской.

— А дэрево ломат правда нэ надо. Груш долго растет. У нас в Сухуми есть один груш — мой дедушка малчик был, уже тогда кушал. Буду дома, я вам настоящий груш отправлю, сладкий-сладкий.

И добавил, сверкая белозубой улыбкой:

— Груш зелений, амбал белий — вах, совсэм нэ тот палитра получается, да?

Это верно, тут без пол-литра не разберешься…

— Амбалы, говору, нужны, — большой крепкий указательный палец начальника внушительным ногтем ткнул в Саню Рассохина — того заметно качнуло.

— Вот ты, вижу, амбал.

Затем палец скользнул было мимо Булки, но тот готовно выпятил живот — палец вернулся, но ткнуть не решился: уж больно хрупким, похоже, показалось это обтянутое пергаментом пузцо. Ага, уж если в амбалы годится коренастый Саня со своими покатыми вполне уже мужичьими плечами и не годится худой Булка, значит, амбалы — это просто здоровяки.

Амбалами, короче, были назначены мы с Саней. Оказалось, мы должны были грузить ящики с редиской в машину. Гордясь доверием и неожиданным производством в амбалы, мы быстро справились с заданием. В кабину сели сам новый начальник и Тоня, тихая и скромная представительница женской бригады, немало удивленная распоряжением начальства. Тоне поручено стоять за прилавком на базаре, Апхас должен организовать процесс сдачи планового редиса на базу и реализацию излишков. Излишков оказалось немало — более половины собранного редиса. Таких поездок будет еще несколько, и все пацаны по очереди побывают амбалами. Даже Булка. Очень нам нравились такие поездки — мчишься в открытом кузове машины, сидя на ящиках с редиской, ветерок теплый тебя обдувает, быстро мелькают перелески, поля, деревни, впереди — манящий город. Это вам не тяпкой махать целый день.

Базар гудел, жил своей базарной жизнью. Вот на прилавке — гора полосатых арбузов, над ней полосатый арбуз побольше, увенчанный усатой дыней в тюбетейке. Дыня шевелит усами и кричит голосом Ходжи Насреддина:

— А вот арбуз! Самаркандский арбуз!

Дальше — лиловые сливы, красные яблоки, желтые груши. Груши зарумянились смущенно, явно стесняясь соседства с ценником, на котором астрономическая сумма — 4 р. 20 коп. О, аллах! Две нормы!

— А сколько интересно, таких груш будет в килограмме?

— Да штук шесть, наверное.

Еще дальше — прилавки с абрикосами, курагой, урюком. Урюк. Удивительное слово — пряной восточной негой пахнет, нездешним ароматом абрикосовых садов. Само это слово и родиться-то могло лишь в момент, когда тормознешь, бывалоча, ослика на Самаркандском базаре перед таким вот изобилием, почешешь дыню, сдвинув тюбетейку на ухо, да сунешь руку в карман полосатого халата, а там… Там, извините, полный урюк. Наскребли, короче, по карманам целых 14 копеек — ровно на дольку груши величиной в 1/5, вздохнули, помянули ее, несъеденную, незлым и тихим словом, мудро купили в киоске две сайки. Белый хлеб и красная… да нет, не икра — редиска.

— Как думаешь, надолго торговля затянется?

— Да не, Санчо, чего надолго-то? Дело это нехитрое. Смотри, как у Тони хорошо пошло.

Торговля и впрямь шла успешно. Раскрасневшаяся, помолодевшая Тоня в красной косынке и белом фартуке, смущавшаяся вначале, разошлась постепенно, ловко взвешивала редиску, к ней даже образовалась небольшая очередь. Апхас, сверкая улыбкой, шустро помогал Тоне, громогласно рекламировал товар. Что-то такое происходило между Тоней и шефом, искры какие-то проскакивали, и это явственно ощущалось окружающими, люди с готовностью смеялись шуткам веселого кавказца, охотно нагребали в авоськи еще мокрую отборную редиску.

— Нет, не скажи, торговля — дело тонкое. Вот прошлым летом мы с матерью на этот базар приезжали. Пока она огурцами торговала, велела мне курицу продать. Была у нас одна такая — черная, толстая сама, а наглая — не несет яйца, хоть убей. Ну, убивать мы не стали, решили живьем продать. Ну, стою я с ней в обнимку, все, конечно, спрашивают — угадай, какой вопрос спрашивают?

— Ну, сколько стоит, наверно?

— Почти угадал. Человек двадцать подходили, и все, как один, как сговорились, гады: «Почем ворону продаешь?» — спрашивают. Так я и не продал курицу. А ведь всего рупь просил! Вот тебе и простое дело… Вообще, знаешь, люди какие-то все одинаковые, как гальки-голыши на речке, одинаково все думают, что ли?

— Да с чего ты взял-то?

— А вот я маленький был, года четыре, наверное, зубов, конечно, маловато. Сижу на скамейке, мимо взрослые идут… Что, думаешь, спрашивают?

— Сколько тебе лет, — спрашивают?

— Не-а, куды, мол, зубы подевал. Да еще и подсказывают одинаково, куды. Так я после десятого прохожего, хоть и не говорил еще тогда, веришь, бойко так рапортовать начал на вопрос, куды я зубы подевал:

«Бабка выпейдела!» — вот такие первые слова, можно сказать. А ведь я бабушку свою и не видел.

Вот мы все разные, да — я, ты, Булка, Факир, Джамайка, Алик — неужели одинаковые тоже станем, как вырастем, а?

— Да-а уж, спроси чего полегче, философ.

Затем Санчо от скуки начал читать нескончаемые стихотворные поэмы. Он мог читать их наизусть часами. Удивительная же у него память — никогда у нас не хватало либо времени, либо терпения дослушать до конца. «Засохни, Рассохин! Или рассохнись окончательно, до потери голоса!» Особенно любил Саня приключения Робинзона, я помню только начало:

Робинзон проснулся,

За ухом почесал,

На бок повернулся,

И рассказ начал:

Это было в море,

Ветерок крепчал…

Ну и так далее — куплетов 100. Или 200. А еще помню такое:

А вот еще картиночка,

Достойная пера:

Малявочка-сардиночка

Седлает осетра…

Я б и дальше вам процитировал, немножко помню, да там такое, что вслух нельзя.

Ни до, ни после не встречал я уже ничего подобного ни в устной, ни в печатной форме.

Хорошо, но пошло. Сам Саня сочинял эти поэмы, что ли?!

— Слышь, братишка, а разве это можно — совхозную редиску на базаре продавать?

— А почему нельзя? Хотя…

И верно, раньше редиску, что собирали женщины и мы, отрезав предварительно «вершки» (зеленую, надземную часть) хранили в ящиках на складах Овощного, затем, через недельку-другую, подвяленную уже, отвозили на базу в город, где она небось доводилась до полной кондиции, то есть полной непригодности. А тут вот она, розовенькая — мигом раскупается горожанами. Просто нарушение технологии какое-то!

Так же, похоже, рассуждал и управляющий Александр Иваныч, задумался что-то, мучаясь дилеммой: с одной стороны, это вроде незаконно, а с другой стороны — план-то по редису сдан, и деньги за проданные излишки немалые привез Апхас с базара — всему «золотому фонду» обещана премия. Ломал, похоже, голову Александр Иваныч, не зная, как к этому новшеству отнесется начальство: если одобрит — страсть как хочется возглавить инициативу, приписать себе заслугу. А если осудят? Тогда ведь сигнализировать наверх нужно вовремя!..

Едва Апхас освоился со своими обязанностями, женщины приступили к новому шефу с претензиями, основная из которых — далеко уж больно ходить пешком на Овощной:

— Давай машину, начальник!

—Все ноги собьешь, пока дойдешь!

— Э, женщины, ножки бэрэчь надо. Будет вам тыранспорт.

Сказано — сделано. В конторе совхоза Апхас уже требовал у управляющего отделением машину.

— Нет машин! Сенокос у нас, вы понимаете?

— Нэт машина — лошад давай, э!

— И лошадей нет. Я вам русским языком говорю — сенокос у нас.

Я, извините, товарищ, кавказского языка не знаю, уж не взыщите — картинно разводит руками Александр Иваныч.

— Нэ надо кавказский. На Кавказе 130 языков, да? Какой ви нэ знаете? Я русским языком говору — женщин возит надо!

— Да пусто в конпарке. Вот, спросите хоть у Петра Иваныча — там один Коготок стоит.

— Кто это — Гоготок? Лошад?

— А это не лошад. Это зверь! И не просите, не дам — и женщин изувечите, и коня погубите.

— Кто, я?! Коня губишь?! Что говоришь, э? — обиделся Апхас.

— Пускай эдот шигит попропофаль шерпец, — вмешался, к счастью, Петр Иваныч, — спор на бутилька — шерпец упешаль!

— Хорошо, пробуйте, пробуйте. Но под вашу ответственность! А я, извините, умываю руки! — театральным жестом поднял руки управляющий, хотя никакого умывальника нет поблизости — любил, грешный, показать ученость.

Все гурьбой повалили из конторы на конюшню, без нас не обошлось, естественно, такого зрелища уж мы-то не пропустим. Апхас шел в толпе зевак, его вели, как секунданты ведут бойца на финальный бой.

— Вах! — шедший до того со скептической улыбкой, поразился Апхас. — Вах! Гдэ такой скакун брали?!

Петр Иваныч, да и все остальные, явно довольны произведенным эффектом. И правда, Коготок, выведенный из полутемной конюшни на солнце, красив был дьявольски, фердамт нох маль!

Апхас перекинул повод, сильной рукой потрепал шею, пригнул голову коня, что-то шепнул в прядающее ухо. «Посмотрим, как этот джигит с ним управится», — написано на лицах окружающих. Посмо… вах! Моргнул я, что ли — не углядел все же, как и оказался вдруг Апхас на спине Коготковой, — ведь только что бежал рядом. Коготок взвился на дыбы, сделал несколько прыжков на задних ногах, пал на передние — ш-шух-х, ш-шух-х! — один за другим два коротких выстрела задними копытами прямо в синее небо, но всадник сидит крепко. Йа-ха-а! Одним прыжком перемахнув через изгородь, умчался Коготок — через несколько мгновений стал не больше изображения коня и всадника на пачке папирос «Казбек»… Вот это да!

— Иншалла, — пробормотал лишь дядя Мавлит. Долго не опадающие клубы пыли, как шлейф за реактивным самолетом, обозначили маршрут Коготка — сейчас скроется за лесочком.

Апхас вернулся совсем с другой стороны, ведя коня в поводу. Коготок, потемневший от пота и пыли, похудевший заметно, шел преданно, как собака, фыркая время от времени в черноволосый затылок. Шли они, явно довольные друг другом.

— Что, уже объездил?! — поразились мужики.

— Нэт, он давно объезжен, застоялся просто. Сила дэвать нэкуда! Хорошо кормишь, — это польщенному Петру Иванычу.

Теперь Петр Иваныч зауважал Коготка, как привык уважать всякого человека, честно выполняющего свою работу, больше не фамильничал «доннер-веттер-тармоет», а называл его ласково так: «Кокотёк» —при деле конь потому что.

С тех пор Апхас и запрягал с утра Коготка в починенную Прогрессову пролетку, с хохотом и песнями доставлял женскую «бригаду Ух» на самые дальние поля. И нам иногда удавалось прокатиться: Коготок ходко катит по мягким проселочным дорогам, опережая клубы пыли, не замечая даже тяжести облепивших пролетку незваных пассажиров.

— А чего это именно Тоне такое предпочтение, товарищ начальник? — это тетка Наталья первой заподозрила чего-то. И впрямь на облучке, рядом с возницей, видим Тоню — прежде незаметную веснушчатую невысокую женщину, чуток моложе других, пожалуй. Исполнительная, безропотная, она, тем не менее, часто попадала на доску Почета. Апхас ничего, однако, не ответил — зыркнул лишь фирменным своим взглядом, от которого враз стихают даже мужские смешки, развернул круто Коготка, умчался по своим делам.

— А ну, признавайся, тихушница ты наша, было дело? Я же не первый день живу — вон как цветешь и пахнешь! — не унималась уже в поле тетка Наталья. И действительно, всегда довольно серенькая Тоня будто светилась изнутри. Залившись краской, подхватила ведро и бросилась дергать зелень, не разбирая, где и редис, а где просто трава.

Что тут началось! Злословили с каким-то будто остервенением, даже со злобой непонятною, и все на тему, где у мужиков глаза бывают и каким местом они думают, и как некоторые бабы пользуются этим, а также шуточки насчет особенностей экстерьера коня, что их привез, и возницы: причем параллели проводились в отношении этих особенностей такие, я вам скажу, что сжалилась баба Катя над совсем уже раздавленной Тоней, загремела, не выпуская беломорины из зубов:

— Да цыть вы, мокрощелки, дуры завистливые! Распустили языки — вон, пацаны-то слушают! Тоня-то чем виновата, что вам некому ноги в гору сделать! Повезло вашей товарке — ну и порадуйтесь за её, своя же сестра-горемыка! А бог увидит — и вам какого-никакого мужичка спроворит!

И тут уж вовсе хохот перерос в рев турбинный, лавинный прямо. Потому что за плечами тети Кати, ничего не подозревающей, при последних ее словах и впрямь появился мужичок — это Володя подъехал на подводе, привез пустые ящики.

— Ну, Катерина, услышал бог твои слова и наши молитвы, подогнал и нам производителя, язви его!

— Володенька, иди ко мне, я вся твоя! — аж завалилась на спину от хохота тетка Наталья, самая, пожалуй, матершинница изо всех. И тут же перекинулись бабьи язычки на Володю, круто пересоленными шуточками вгоняя того в тоску. Володя — безобидный мужичок лет под сорок уже, небольшой, коренастый, сильный. Не сказать, чтоб совсем дурак был, так, задержался что-то в детстве, может, ему в детстве лучше. Охотно и добросовестно выполнял Володя несложные работы, бабы его по-своему любили. С лица Володи не сходило какое-то постоянное виновато-испуганное выражение — оттого ли, что не мог он понять смысла шуток, обращенных к нему, или как бы просил Володя людей не трогать его. Каждое вновь подросшее поколение пацанов, тем не менее, частенько развлекались тем, что обещали привезти Володе невесту, женить его. Принимавший за чистую монету самые фантастические сценарии женитьбы своей, Володя взахлеб рассказывал всем желающим, какую свадьбу он скоро закатит.

— Ну вот, позубоскальте мне еще. — Для острастки Володя произнес где-то услышанную и подходящую, по его мнению, ко случаю фразу.

Впрочем, привычные смешки и без того бы быстро прекратились — насчет Володи все уж не единожды переговорено, перешучено. Нехотя разбирая ведра и кряхтя, женщины разошлись по рядам редиса.

— А ты не слушай никого, Тоня. Любитесь — и любитесь на здоровье. О многом-то не мечтай только, чтобы слезы зря не лить. Орел такой на тебя, курицу, спикировал — благодари бога, что враз не склевал. Орлы в курятник надолго-то не залетают — не заклюет, так потопчет. А что недолгою любовь-то будет — так счастье не годами, оно минутками мерится. Ох, дева, така уж долюшка наша бабья. Я с моим Степушкой три довоенных месяца только и прожила — и тридцать лет Богу свечку ставлю за те три месяца. Так-то, дева…

Тишина, солнце палит. Все постепенно втянулись в работу, руки делают свое привычное дело, думать, мечтать не мешают. Висящий где-то возле солнца невидимый жаворонок видит лишь медленно передвигающиеся согнутые спины, слышит стук редиски о дно ведра. Лишь Тоня, пожалуй, чуть почаще других разогнет спину, посмотрит из-под ладошки вдаль, где дрожит от зноя воздух над пыльной проселочной дорогой, — не покажется ли быстро приближающаяся точка, не примчит ли Коготок любимого хозяина…

Теперь мы тоже перестали побаиваться жеребца. Когда пацаны рядом, Коготок и танцевать-то старался поосторожней, да никакой он не зверь, ему просто силу девать некуда. И мы уже смело вертелись в его деннике, чистили, расчесывали гриву, а он шутки ради пыхал нам в вихрастые головы — мама потом вычесывала из макушки застрявшие там соломинки и зернышки овса: «Опять в конюшне лазил, кавалерист?» Старший брат, утюживший рубаху, собираясь уже идти гулять, заметит снисходительно: «А чего ему еще делать-то, ма? Молодо-зелено! Подрастет еще маленько — делом займется!» Тоже мне, взрослый. Да знаем мы их «дела» — подглядывали как-то с Аликом.

Девчонки в нарядных платьицах, в белых носочках — фу-ты, ну-ты! — сидят не дышат. Парни — в пиджаках со шлицами, почему-то именно шлицы им подавай, в брюках клеш 22 на 29. Они эти клеши, размер их, обсуждать могли часами, нисколь не вру! Как будто есть какая-то разница — сантиметром больше клеш или сантиметром меньше.

Сидели они сначала всей компанией, болтая натянуто, смеясь довольно-таки натужно, а потом разошлись по парам. Мы с Аликом наблюдали из кустов сирени — да сидят, держась за ручки, даже до поцелуйчиков у них не дошло. И о чем это можно болтать столько — да мы с Аликом едва не заснули там, в кустах. Скукота!

…И это чтобы я променял игры наши бесконечные, знакомство наше доброе с обитателями конпарка, походы наши на озеро, в лес, на речку, дружбу нашу заветную, беготню нашу вездесущую, любопытство наше неодолимое, безраздельность лета нашего, простора безразмерность, восторга такого, что слов недостаточно, а только вот хлопнуть дверью — и скорей за Аликом, Булкой. Факиром, Джамайкой, Санчо, Винтиком, — скорей за ними — тревога, пацаны, да тут грозят отнять у нас все это!

И чего взамен-то?! Да ахи, охи-вздохи под луной.

Что-то нынче с утра не заладилось. Как назло, машину с редиской отправлять в город не запланировано, и поставили нас на прополку картошки. Ровные ряды картошки тянутся до самого горизонта, до березового лесочка. Солнце уже с утра палит нещадно, день обещает быть жарким. Там, у березового колка, проходит автотрасса, по ней проезжают часто машины, яркие автобусы, ветерок доносит веселый говор и песни пассажиров — хорошо им, нарядным, едущим себе в нарядных автобусах в нарядный город, в нарядную такую, беззаботную жизнь, а тут знай тяпай. Тяпаешь-тяпаешь, а расстояние за спиной все прежнее, а впереди даже будто и удлиняется — что за черт! А норму — три ряда на брата — сделать нужно, иначе работа не оплачивается.

— Может, перекур, мужики?

Настроение у всех такое — радостно побросали тяпки, нырнули в тень. И засиделись что-то чересчур, разморились, в карты заигрались — работать расхотелось окончательно. А дремавшая было совесть беспокоит все сильней — потому, наверно, и проявилось в безобидной вроде игре в «дурачка» что-то злое, азартное, и все злее дразним и подзуживаем Витьку Нагеля, то бишь Гвоздика, Дюбеля, Шурупа и т.д., остающегося чаще других в дураках. Да и он усугубляет — психовать начал, «хлыздить», кричать и обвинять всех в мошенничестве. Нет, брат, не пойман — не вор, такое, Винтик, в мальчишечьей среде не прощается — всерьез его травить начали, дразнить, унижать и подзуживать — короче, довели человека. Взбешенный Гвоздик схватил, гад, не дюбель, не шуруп даже, он схватил ножик, которым у редиски «вершки», стебельки то есть, отрезаются, — заточенный под углом кусок ножовочного полотна, острый, как сапожный нож, — и кинулся на первого попавшегося, каковым оказался я. А мне-то мой вершок еще пригодится, равно как и корешок. Едва успел перехватить его руку, покатились вниз с насыпи в арык, спасибо Булке, помог, повис на Витьке нетяжелым своим грузом. Лежу на траве, уже вроде и понимать начал, как это обидно — быть объектом травли, остаться вдруг одному против всех, как это непереносимо больно, куда больней, чем просто в «дурачках» остаться — оказаться, и без причины ведь, изгоем — слово-то какое неприятное… Надо мной небо, как над князем Болконским, и это небо норовит перечеркнуть для меня огромная, как гильотина, заточка, а я ведь только-только понимать все начал…

И вдруг вознесся Витька-Гвоздик высоко-высоко, висит, болтает конечностями. Оказывается, это подъехал незамеченный нами Апхас, увидел нашу кучу -малу, выхватил Витьку, поднял за штаны на вытянутой сильной руке:

— Вах! Что делаешь, э? Зачем ножик? Целый кынжал, вах! Гдэ фашист? Давай вмэсте фашист рэзать!

Опустил Витьку на землю, широко улыбнулся:

— Вот видишь — нэт фашиста! Только друзья, твои друзья, зачем кынжал? Для кынжала у мужчины враги есть! Что, малчик, обидели, да?

Кое-как крепившийся Витька от сочувственных слов враз заотворачивался, захлюпал носом, прикрылся рукавом.

— Нэ плачь! Мужчины нэ плачут! Садысь, купаться поедэм, нас абижают здэсь!

Вах, вот это да! Такого поворота никто не ожидал. Мы враз помрачнели от зависти: да просто избавиться сегодня от тяпки — верх мечтаний, а тут еще поездка — на Коготке поездка — на озеро, купаться, вах!

Утирая глаза, Витька уселся в пролетку, отвернулся от нас. Апхас подходит, вот сейчас они уедут, умчатся, как вихрь, — везет же психам всяким! Апхас что-то шепнул Витьке, тот вынужденно как-то, натужно, невнятно, отворачиваясь, буркнул:

— Садитесь, пацаны.

Уши не верят, а ноги уже влекут нас к пролетке. Нельзя, нечестно так соблазнять, отказаться — выше наших сил.

— А как же нормы? Мы ведь уже вон сколь пропололи — зря, что ли? Пропадет же день, пацаны!

Это Валик, он всегда был самый ответственный, маленький серьезный мужичок, один из всех о деле подумал, не о купании.

— Садысь, я тоже приглашаю. Норма всэм будэт — слово мужчины.

Ну это, разумеется, такая взрослая формула для детишек — кто же несделанную работу засчитает, не поверили мы. Да черт с ней, с нормой — после отработаем!

Полноправными пассажирами, вперед по мягкой грунтовой дорожке, обгоняя пыль, вырываемся на автостраду — и тут Коготок, увлекшись простором и пользуясь хорошей асфальтовой дорогой, словно вспомнив что-то, включает и вовсе космическую скорость. Жаль только пассажиров запыленного автобуса, прильнувших к окошкам при виде редкого зрелища и убеждавших, наверное, шофера обогнать пролетку — да где вам! Пролетка пролетает мимо вас, как ракета. Плетутся, бедные, в свой чахлый задымленный город, чтобы заниматься там скучнейшими делами, и завидки их берут, глядя на нас.

С гиканьем и воем, срывая одежки, помчались в воду. Красота! Расступились с опаской, когда Коготок, понюхав воду предварительно, рухнул вдруг с высокого берега, подняв, как авиабомба, тучу брызг. Апхас тоже нырнул, исчез — минута, другая… Утонул, пацаны! Да нет, вон он, уже на середине озера, рядом с конем. Над водой только голова и ушки топориком, рябь от дыхания коня до другого берега простирается. Апхас фыркает, как конь, Коготок кряхтит от наслаждения, как мужик, дотянувшийся, наконец, под пропотевшей рубахой заскорузлым пальцем до самой, язви ее, до под лопаткой и скребет, постанывая. Вот тут, пожалуйста, тут уместны параллели и сравнения меж конем и всадником.

Потом катались мы на уютной двуспальной спине Коготка. Он всех катал охотно, нельзя только подплывать к нему сзади.

— Ну да, он же плывет, как бежит, зацепит еще копытом — мало не покажется, — пояснил рассудительный Джамайка.

Накупавшись, Коготок вышел на пологий берег и ну давай валяться — все, думаем, сейчас все березы посшибает, гений дзюдо (просьба без аналогий). Затем он снова поплыл и попытался было выйти на крутой плотине, да копыта скользят, разъезжаются в глине. Сделав несколько безуспешных попыток выйти, Коготок отступил подальше в воду — и вдруг черным дельфином, дьяволом морским выскочил из воды в ореоле брызг, успел зацепиться за берег и теперь стоял гордо, храпя победно.

— Ай, маладэц, упрямый!

Потом стали бросать друг друга с берега. Везет Булке, невесомому, — его забросили чуть не на середину, Летел, визжа от восторга, и булкнул Булька, вернее, Булка булькнул без всплеска. Сашку попробовали бросить — уронили пузом.

— Давайте лучше прыгайте с моей спины, слабаки, — предложил он.

Я попробовал, да поскользнулся на его покатых плечах — сел с размаху на голову.

— Чего уселся ты, как шапка Мономаха, — а ну слезай скорее!.. — припечатал веско, в рифму. «Поэт, ей-богу, поэт!» Слезая, угодил ему пяткой в глаз от восхищения — благо, Саня не обидчивый, как Гвоздик. Над ним подшучивать можно сколько угодно, он только улыбаться будет да сыпать остроумными рифмованными прибаутками — сам, от бессилия довести его, запсихуешь.

— Чего ты терпишь, Санчо, напинай ты им хорошенько, ты же сильней их! — посоветовал я как-то.

— Ага, и с кем дружить потом? Смейтесь на здоровье, от меня не убудет.

Вот те на! А ведь Саню, корторый был месяц моим одноклассником, забрали в первом классе в какую-то школу особую, предназначенную для неуспевающих в обычной. Кажется, она называлась «зеленая школа» — в лесу, видимо, находилась. Поговаривали, что эта школа чуть ли не для дураков. Да это не Санчо, а нас всех нужно туда отправлять, мудрости такой поучиться. Меня особенно — ведь это я из ревности подзуживал Саню, я понял, хотелось одному мне обладать таким покладистым, удобным товарищем, просто оруженосцем Санчо Пансой, а его желания и мысли я, значит, не учитывал.

— Факир, покажи фокус!

— Бу сде! — Фарит, нырнув, спускал трусы и выныривал кверху местом, по которому недоуздок плачет. Ну, на такие-то фокусы кто же не горазд?

— А давайте переплывать озеро, как Чапаев!

— Как это?

— Да чтоб одна рука над водой торчала, как раненый плывет.

Переплыли все, оглянулись — а из воды и впрямь только одна рука торчит, а самого Джамайки не видно. Кинулись, вытащили его, синего, принесли к костру, сунули в зубы зажженный окурок — начал оживать маленько.

— Ты чего не кричал-то, коли тонул, Джамайка?

— А что, Чапаев разве кричал бы?

— Чего ж теперь, так и тонуть молча?

— Я не тонул, я плыть пытался. Знаете сказку про двух лягушек, попавших в кринку с молоком? Одна сразу сдалась, сложила лапки и утонула. А другая плыла, колотила лапками и сбила себе масляный островок из сливок, с него и выпрыгнула из кринки. Мораль: никогда не сдаваться!

Вот уж точно, чудо- остров в океане.

— Слышь, Витек, а что, если б не Апхас… что, правда порезал бы меня ножом?

— Нет. Не знаю, отстань, не помню я ничего! — начал злиться Гвоздик.

— Да я не обижаюсь, я просто знать хочу. А нас позвать на озеро тебе Апхас посоветовал, да? — спросил я вроде просто так, но аж дыхание затаил в ожидании ответа. Соврет или правду скажет — важным это казалось почему-то.

— Д-да, — выдавил Витек.

— А если б он не посоветовал, ты бы нас позвал?

— Да. Нет. Не знаю, позвал бы, конечно! Да что ты все спрашиваешь, никто не спрашивает, а он все спрашивает! Отстань, спрашивает он…

Ну вот, опять обидел человека. Все-то вот мне знать нужно, до самой сердцевины докопаться, а там больно, нельзя там царапать. Гвоздик-то Витька, а царапаю я — где логика? Вот такая загвоздка… Позвал же все-таки, и хорошо. И всегда-то мне интересно затаенное, и сам я хочу быть интересным своим друзьям по-настоящему. А отношения вроде:

— Привет, выпить нет?

Или:

— Айда покурим. Как там наши сыграли?..

Такие отношения неинтересны мне, да для таких отношений всегда приятели найдутся, уж куда приятнее меня.

Вспомнился тут Минечка. Он сам нам так представился. Давно уж это было, играли мы на речке, тут его впервые близко и увидели. Ходили слухи, что дед Минечки, огромный сумрачный старик, какой-то особо боговерующий баптист, что он не пускает Минечку в школу, заставляет его молиться. Сроду не видали никого особого богомольного: дед Булкин, хотя и молился, да так радовался, помню, когда Булку в пионеры приняли, — деда, словом, не в счет, не увязывается он ни с каким религиозным фанатизмом. Даже в ичигах. Словом, для нас просто пацан с крестиком на шее — диковина, а тут настоящий баптист…

Баптист Минечка — обыкновенный с виду рыжий веснушчатый пацан с оттопыренными ушами, нашего возраста. Кто уж там недоглядел, как его погулять выпустили — неизвестно. Со странным любопытством смотрел Минечка на речку, мостик, на нас, пацанов.

— А правда, что вы в Бога верите, а его же нет? — приступил я к Минечке с расспросами.

— Окстись, пошто беса тешишь? — испугался, крестясь, Минечка.

— А вы баптисты, да? А тебя в школу не пускают, да? А правда, что тебя дед молиться заставляет с утра до вечера? — засыпал я его вопросами.

И не понял тогда, почему Минечка содрогнулся вдруг, заплакал такими крупными слезами, так горько, так трогательно и беспомощно, как мы в нашем суровом мальчишеском мире давно разучились. Поревешь разве где-нибудь в укромном уголке, побитый превосходящими силами противника, глотая злые слезы и грозя кулаком, — так это разве плач? Это не плач — клятва об отмщении, это скорее рев раненого зверя, зализывающего раны. Вот такой у нас, пацанов, мужественный плач должен быть. А Минечкин тихий светлый плач как по сердцу резанул. Заметался я, не зная, чем и утешить его. Спасибо гусю. Гусь, сам того не ожидая, помог горю — он плавал себе, ныряя, торчал кверху замусоленной гузкой, выискивая что-то на дне, вынырнув, озирался, гагакал тупо и снова нырял.

Минечка закричал неожиданно, показывая рукой:

— Гляди, гляди-ка! А гусь-то, гусь-то — ныйнуй — и выныйнуй! Ныйнуй — и выныйнуй!

И такое удивление, такая детская радость, такая любовь звучит в голосе, написана на светлом личике, что я глупому гусаку позавидовал невольно. И теперь напрасно силюсь вспомнить, позже ли напластовалось под влиянием прочитанного или тогда же и привиделось, что пойдет отрок Минечка за гусем прямо по воде, по солнечным бликам… При слове «атеист» теперь себя только и вижу — черствого, толстокожего.

— Ай, хорошо! Ну, что подэлать — мнэ в кантору надо. А ви купайтэсь, загорайте. Хорошо здэсь, как в Сухуми. Говорите, когда приехать за вами?

— Э-э, нет. Вот это уже лишнее. Ни к чему. Да вы и так нам такой выходной устроили! Не-ет, мы приличия знаем, да что вы, сами дойдем — из вежливости, деликатности деревенской тут же отказались мы, — да что мы, в самом деле, вовсе уже неблагодарные, что ли!

— Ну, сами так сами. — Коготок, уставший отбиваться от надоедливых оводов, взял с места мягко, ходко. А мы еще долго плескались, ныряли, загорали. Бесконечен летний день, как жизнь предстоящая. И короток, как минувшая. Пора отправляться.

Дорога делит широкое поле надвое. Слева — невысокая пока кукуруза, она шелестит еще мягко, не жестяно, как в августе. Справа — молодой ячмень, усики его шелковистые, как гривка еще неродившегося Коготочка. Простая проселочная дорога, утоптанная в основном ногами и копытами. Дорога эта, мне кажется, была всегда. Первое смутное воспоминание: я иду, держась за мамину руку, шагаем в здешние перелески, богатые земляникой. В обратный путь иду, держась уже за дужку ведра, ныть и проситься на ручки бесполезно— заняты мамины руки ведерками, полными земляники. Зной, солнце, дальний путь и — веселая отдохнувшая мама. На обочинах дороги — осот, васильки, разнотравье, иногда глубокий узкий подсохший тележный след: съехал, видно, кто-то в дождливую погоду с колеи неосторожно. Отсюда хорошо заметно постепенное пологое понижение рельефа в сторону реки, там и деревня наша. За рекою, наоборот, рельеф повышается, и оттого вся округа как на ладошке: темнеют перелески, зеленеют и желтеют квадраты полей, далеко в чистом дрожащем от зноя воздухе видны белеющие хаты, водонапорная башня — главный наш ориентир, а мы — командиры над лежащей перед нами картой местности.

В высоком белесом небе неподвижное солнце, и белые кучерявые облака плывут, облака, сливаясь на совсем уже дальнем горизонте с дымами заводских труб Челябинска. Благодать, вот уж истинно, Божья. «Хорошо в краю родном!» Как там дальше у Сани? Впрочем, дальше у Сани пошло, но хорошо!

Мы шли не торопясь, с удовольствием вбивая босые пятки в мягкую теплую дорожную пыль. Мы еще не знали, что поездкой этой Апхас попрощался с нами, что видели мы его последний раз — он уедет срочно, поговаривали, что его «таскают» за какие-то якобы махинации, что незаконно это было — продавать на базаре совхозную редиску. Почему это плохо, если всем от этого хорошо? Поговаривали также, будто замешан в этом деле Александр Иваныч, он, де, написал жалобу. Спросите нас — и вам присягнут амбалы, что не мог такой человек совершить нечестный поступок! Но нас, к сожалению, не спросят — пришлют целую авторитетную комиссию, которая не найдет, конечно, никаких хищений, но Апхас все равно уедет вскоре в свой Сухум — «Надоэло, слушай, доказыват, что нэ вэрблуд!». Мы шли, и еще не знали, что зимой пришлет Апхас Тоне письмо и посылку с большими, ну просто невероятными грушами, в два раза большими, чем те, что мы с Санчо на базаре видели — сорт «две нормы». «Груши для моих амбалов» — будет указано в письме. Тоня, зазвавшая нас к себе в комнатенку в бараке, будет угощать нас этими грушами и смотреть огромными глазами. И будет продолжаться их прерванный и, похоже, бесконечный разговор с бабой Катей:

— Не могу я, Кать, уеду — в Челябинске у меня тетка, примет, поди. Хотя бы на время.

— Да ты чего, дева, никак опростаться надумала? Да ты же на каком это месяце — на шестом, поди? Девки наши скинулись уже, Наталья вон в город съездила, коляску детскую тебе купила. И не думай, езжай к нему, коль зовет.

— Да как же я поеду, а ну как родственники-то его меня не примут? Ведь они же мусульмане, другой народ совсем. Чадру, поди, наденут, запрут в дому-то. Да я при нем не то что выпить или матюкнуться — слово молвить боялась. Да и старше я его намного, он же молоденький совсем — не смотри, что мужик такой здоровенный.

— Во, дура-то — кина ты насмотрелась, что ль? Чадру, вишь ты, накинут на её мусульмане! А сколь русских-то баб за татар вон повыходили и в ус не дуют, а оне ж тоже небось мусульмане!

— Ну, татары-те свои, считай, такие же, как наши. Народ хоть и шебутной, да не вредный. И вообще, Кать, что было — того не вернешь. Не повторятся уже такие денечки, такие ночки… Сама же говорила — счастье не годами меряется, а минутами. Были и у меня минутки, да такие, что всю оставшуюся жизнь за них отдать не жалко, — ну и спасибо, и на том спасибо. Пора, как говорится, и честь знать. Мы приличия знаем…

— Ну, дева, и туману в тебе!

— Нет, Катерина, не в чадре дело. Не хочу я, чтоб он по обязанности женился. А рожать я буду, хоть врачи и не советовали — опасно, говорят, в вашем возрасте рожать-то первого. А когда бы мне и родить-то было — он у меня и первый, и последний будет. Ему о ребенке сообщать не буду. Уеду я. До сего сомневалась еще, а вот груши эти увидала — и как ножом по сердцу, поняла вдруг: прощается это он со мной. Вот не растут же у нас такие груши. И наша картошка там,. поди, завянет. В письме он вроде как и зовет, а мне кажется — прощается…

И вы прощайте. Поеду я. Не поминайте лихом. А апхашонка я и одна выращу. Или вот Володю на себе женю.

Посмеялись невесело.

— Ой, дева, ой, дева…

Жаль, очень жаль, что не вслушивался как следует, не расспросил, мало чего понял я из того разговора — увлекся грушей.

Да и было же чем увлечься — держать грушу приходилось двумя руками, держать перед лицом и вдыхать, вдыхать неповторимый аромат, чтоб запомнить надолго, потому что такое чудо долго продолжаться не может, нет, счастье — оно минутками измеряется. Мы пили сок грушевый, этот нектар, самозабвенно, с сожалением отмечая, что груши слишком быстро кончаются, и даже не вспоминали в этот сладостный миг, кто их нам прислал, пообещал же летом — и прислал вот зимой. Стоп. А ведь теперь и не вспомнить уже, как его звали. Помню только, что имя его как бы перекатывалось во рту при произношении, как твердая конфетка — барбариска, а окончание имени, помню, звонко так похрустывало — это барбариска попадет, наконец, на коренной зуб и, хрупнув, рассыплется кисло-сладкими брызгами, награждая своего пожирателя мятным ароматом. А вы говорите, «лицо кавказской национальности»…

Но и тогда не знали еще мы, пожиратели груш, что произойдет вскоре, в один прекрасный весенний день. «Золотой фонд» удивит весь поселок своей гулянкой — впервые тихой, без гармошки и отчаянной пляски, без битья стекол. Просто будут сидеть и пить, и слушать, плача, снова и снова рассказы вернувшихся из города бабы Кати и тетки Натальи о том, как забирали из роддома восковую неживую Тоню, провожаемые всем персоналом: врачи, медсестры, сплошь пригорюнившиеся женщины, немало сил отдавшие в эти дни — роды у Тони были очень тяжелые. О том, как ворвался вдруг Апхас, протиснулся сквозь бабье воинство и подхватил на руки восковую светящуюся Тоню вместе с белым сверточком, кричал что-то счастливое гортанно, непонятно. Впрочем, потом расскажут, будет все же и битье стекол — это тетка Галя, обычно непьющая, ахнет вдруг стакан о стену и, рыдая без слез, будет кричать сухим свистящим шепотом:

— А мой-то, мой-то, сволочь¸— ведь два сына сразу, две кровиночки, а он и глаз бесстыжих не покажет! Да что ж это, бабы-ы!

Но мы того не увидим, потому что будем слушать в молчаливой толпе в дверях конюшни, как стучит копытом о перегородку обычно покладистая Кама, ржет надсадно и коротко, потом, стихнув, в который уже раз дыханием попытается согреть и оживить маленький неподвижный черный комочек в углу денника.

— Недоносила, — будет объяснять возчик дядя Мавлит, — весь день не подпускает никого. Пойдем, Петр Иваныч, пойдем, не переживай ты так, чего уж тут поделаешь…

Ничего этого мы еще не знали. Шли себе, как и положено, усталые, но довольные. Солнце уже заметно клонилось к западу. Ништяк, пацаны! Лето — оно еще все впереди! И жизнь, казалось, тоже — впереди. И все бы ничего, да зародилось что-то в самой сердцевинке утробы, червячок тот самый, он там постоянно, в общем-то, живет, а вот разросся вдруг в большого удава и дает о себе знать — и сосет, и сосет…

— Отгадайте загадку: его не кормят, а он все растет и растет!

— Хрен, что ли?

— Да не про растение загадка!

— Так и я не про растение…

— Кончай, Санчо. Сдаемся!

— Да это голод, ясно!

 - Верно! Молоток! Молодчик, хотя и не летчик! Давайте поищем кукурузные початки!

Но початки еще совсем маленькие, грызть нечего — нечем умилостивить удава. А ведь в прохладной летней кухне мама наверняка приготовила кринку молока, стоит она в углу под скамейкой, на земляном полу, запотевшая, — это в такую-то жару, и мураши, маленькие рыжие мураши ползают по ее бокам, пьют капельки воды, внутрь кринки-то попасть не дает марлевая повязка, — ну и радуйтесь, что не можете забраться в кринку, вы же там утонете, вы же не лягушки и островок из масла, масляную Джамайку себе сбить не сможете. Достану кринку, смахну песчинки со дна и сгоню муравьев с боков, капну им немножко молока ,так и быть, а себе налью в большую кружку, да много, отрежу большой ломоть хлеба и… стоп, машина! Об этом лучше не думать — удав волнуется, а топать еще порядочно. Буду же смотреть под ноги — может, найду что-нибудь. Раньше, когда я был маленький, близко-близко к земле находились глаза, часто находил то пуговицу старинную, то ножичек. Однажды нашел тяжеленький кругляш. Очистили мы его с Аликом, царапнули ножичком — блеснуло тускло, желто, оказалось — старинная монета, золотая, конечно. «Вот у тебя теперь есть золотая копейка, а у меня нет. Друг называется», — надулся Алик. «А что делать? Как нам найти вторую?» — «А как мы ищем потерянную битку?» Как, как… Да бросаем оставшуюся вверх что было сил, зажмурим глаза и кричим: «Друг, ищи своего друга!» И упадёт битка непременно рядом с потерянной. Способ, между прочим, проверенный.

Насоветовал, умник. Искали до темноты — не нашли ни второй, ни даже первой монеты. Ничего, друг важнее. Вон он идёт — встрепенулся, уже надумал чего-то.

— Побежали, пацаны! Я — Коготок! И-го-го!

— А я — Кама!

— А я — Норд!

— А я — Прогресс!

В общем, весь конный парк. И пыль подняли соответственную.

— Мужики, скорей бы у Камы родился маленький Коготочек!

— Родится, как ему не родиться, ведь мы его уже любим

— А хорошие они все-таки люди — лошади! — сначала рассмешил, а после удивил всех Булка.

Философ! Мы чувствовали то же. Люди-лошади. Люди — лошади…

— А правда, старики, везет же нам на хороших людей! — сказал Витек.

По-моему, нам только хорошие и попадаются. Вот Гумар, например, живший неподалеку на нашей улице. Он уже большой был, школу заканчивал, а летом работал на железной дороге. Мы сызмалу на насыпи этой дороги летом ягоды собираем, землянику. Железнодорожный мост через речку охраняется, окружен запретной зоной, огороженной колючей проволокой. Так в этой запретной зоне ягод — видимо-невидимо, да крупные такие, дразнятся, гордятся недоступностью для нас, нахально сияют красными боками, не таясь¸ — не достанешь, мол. Так и уйдешь, бывало, несолоно хлебавши, покричав для собственного утешения под стук колес проезжающего поезда хорошие, на наш взгляд, стихи:

— Поезд едет, рельсы гнутся,

Под мостом попы дерутся.

Самый маленький попок

Удирает без сапог!

Ну все как в жизни. Санчо, однако, раскритиковал эти стихи: «Ага, все бы маленьких обижать! И где это, интересно, в наших краях наберёшься попов для мало-мальски приличной драки?» — Резонно.

И вот играем мы как-то на пыльной улице, колошматим свинцовыми битками истерзанные пивные пробки — скучаем, в общем. И тут появляется Гумар — веселый, перепачканный мазутом так,что белеют лишь глаза и зубы, — протягивает нам полную фуражку отборной земляники — насобирал, когда работал на мосту. Долго будут помнить язык и нёбо удивительный аромат земляники с привкусом мазута.

А Франц? Разве мы его забудем? Мы, тогда совсем еще мелкие, играли в овраге у речки, рубили деревянными саблями красные головы чертополоха, а Франц возвращался из города, он уже там учился.

— Стой, не колоти, смотри, кто там сидит.

Франц осторожно достал из большого красного цветка, из самой глубины его, мохнатого нарядного шмеля.

— Видите, он здесь мед собирает для своих деток. Хотите, я попрошу его и вас угостить медком.

Франц, осторожно придерживая шмеля, как-то уговорил того поделиться — на прокуренном пальце возникла большая янтарная капля меда. Первым слизнул ее Булка. Потом Франц весело бегал вместе с нами, отыскивая шмелей и уговаривая их поделиться медком, пока все не слизнули чудесную каплю, пахнущую табаком…

Эй, господа кулинары, ночей не спящие, тщась придумать новые вкусовые сочетания! Вот вам два рецепта: земляника с привкусом мазута и шмелиный мёд, пропахший табаком. Р-рекомендуют амбалы! Слово мужчины.

Нет, ну бывали, конечно, чего греха таить, и такие, кто не пройдет мимо маленьких, не выдав шелбана или смазки, не разрушив старательно построенный песочный город, не посмеявшись зло. Да мы таких не помним. «Вот еще, помнить таких, — резюмировал Булка, метко цыкнув в щербинку зуба на мою почему-то сандалию, — много чести!»

Солнце еще заметней склонилось к западу. Скоро и конец пути. Сейчас вот разойдемся по домам. И что — и закончится этот удивительный день?

— Стойте, ребята! А правда же, какой у нас сегодня праздник получился! — сказал, как подытожил, Валентин, самый молчаливый. Молчит, молчит, но зря не скажет. — Давайте запомним этот день!

— Запомним! — сказали Саня и Булка.

— Запомним! — сказали Факир, Алик и Винтик.

Запомним, запомним…

…Я стоял посреди зеленого поля ячменного и одновременно видел все вокруг, как будто высоко-высоко взлетел. Шелестела невдалеке кукуруза, ветер гнал зеленые волны ячменя. Коготок стоял неподвижно, не танцевал, смотрел куда-то вдаль, подняв голову, и его грива и хвост развевались, развевались. Коготочек, маленький такой, смешной, светло-черный, убегал почему-то на длинных пружинных ножках, убегал медленными плавными скачками навстречу заходящему солнцу красному. «Куда, куда ты, глупый, сгоришь!» — хотел я крикнуть, но не успел — мимо шли все наши, серьезные, торжественные, сосредоточенные, в брюках клёш и пиджаках со шлицами. «Пойдем с нами», — хлопнул меня по плечу Валентин. Он был хмурый, при галстуке. «Да подожди, Джамайка, Коготочек убегает», — хотел я объяснить, но Алик поторопил: «Догоняй, парень, мы уходим…» Парень? Какой парень? Да ты чего, Алик, мы же пацаны, старики, ребя, мужики, братишки, амбалы, наконец… «Мы стали большие», — сказал Булка. Ну Булка-то, положим, не особо и большой — вон пиджак со шлицами болтается, как на вешалке, лишь брюки клеш скрывают теперь не пятки черные, а туфли модные. «Жизнь, брат, удивительный фокус» — сказал Фарит. Котелок на нем такой, что вмещает кучу лент, зайцев и смешливую учительницу — ассистентку, видимо. У Факира вдруг пробились маленькие черные усики, они ему очень шли, но сам он шел, еще не зная об этом, и потому был красив. Я хотел подсказать ему, порадовать человека. Но не успел — Санчо так хлопнул по спине, что спина долго звенела, а Санчо загадочно так сказал: «Окончен бал, погасли свечи», —и тоже пошел мимо. Я хотел крикнуть: «Подожди, Санёк, как там дальше, на этот раз я запомню, я обязательно запомню!» — но не успел, потому что Саня ушел, и пиджак со шлицами сидел на нем как влитой, и усы появились у него светло-рыжие, пшеничные. Или ячменные. Он станет сапожником, а сапожникам полагаются рыжие усы, как парикмахерам — бакенбарды. И сапожный ножик тоже при нем — заточенный под углом кусок ножовочного полотна, маленькая такая гильотина для подметок. А на плече у Сани — ворона, прикинулась курицей, наглая, держит в клюве ярлычок «Один рупь».

«Ребята, куда же вы? Ответьте, кто слышит меня!» — закричал я глубоким грудным голосом коровы Марты, да спохватился — её же только я и слышу. «Ты все так же любишь спрашивать, а ответ простой: одно кончилось, началось другое. Время идет, мы тоже должны идти, — надо же, услышали, услышали коровий голос! - Это Витька Гвоздик, вот он действительно вырос, стал хорошим портным, — пойдем, я тебе сам пиджак сошью, со шлицами».

Ребята уходили, тихие, торжественные. Вот сейчас они скроются за березовой рощицей. Да что кончилось-то?! Я оглянулся — Коготочек тоже уходил, растворялся в красном большом солнце, вот остался только его черный хвостик, которым он махнул прощально, исчез. Я хотел побежать, вернуть его, но ноги будто приросли к земле.

— Иди, иди к ребятам. — сказала Кама, повернув большую добрую голову. Русским языком почему-то сказала, не монгольским. Странный сон какой-то. И сниться теперь он будет всю жизнь.

— А Коготочек? — кричу.

— Он не родится. — Коготок помотал головой, звякнув удилами.

— А вы, а как же вы?

— Вы теперь не узнаете нас?

— Мы помним, пока живы, — сказала Кама. — И вы не забывайте нас. Не плачь, мальчик.

— Кто, я?! Я плачу?! Что говоришь, э? - Хотел я закричать обиженно, но вижу вдруг, что я — это Минечка, и я, Минечка, действительно плачу крупными светлыми слезами, не грозя никому кулачком и не утирая глаз. Нич-чего-о, Минечке так можно.